

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОСТЫЕ ЗАКОНЫ ПРАВСТВЕННОСТИ

В заключение — этюд о Достоевском. Принято считать, что творчество его чуждо истории: либо «вечные» истины, либо жгучая злоба дня наполняют его произведения. Опыт прошлого писателя будто бы не интересуется: у него нет исторических романов.

У него были только замыслы. Об одном говорит черновая запись темы — «Император». Речь идет о судьбе Ивана Антоновича, годовалым младенцем возведенного на престол и тут же свергнутого. Двадцать три года он провел в одиночном заключении в Шлиссельбурге и был убит комендантом при попытке офицера Мировича освободить царственного узника. (Впоследствии Г. Данилевский использовал эту драматическую историю для своего романа «Мирович».)

Другой замысел — «Житие великого грешника». Достоевский задумал широкое полотно, масштабов «Войны и мира», посвященное идейной жизни России. В центре одной из частей романа он хотел вывести (правда, под другим именем) Тихона Задонского, известного церковного деятеля. Рядом с ним (тоже под другим именем) Достоевский намеревался поставить Чаадаева. «К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже».

Замыслы остались неосуществленными. Но размышления о прошлом русского народа (Достоевский вырос на «Истории» Карамзина) и особенно о его будущем вошли во все его главные романы. Достоевскому был близок нравственный потенциал истории, те уроки, которые она могла преподать, те тенденции, которая она в себе таила. Нет другого писателя, который бы с таким вниманием и волнением размышлял над судьбами России.

Вокруг имени Достоевского накопилось много измышлений, созданных недалекой и недобросовестной критикой. Упомянутая выше книга Б. Бурсова «Личность Достоевского» ценна тем, что развенчивает ряд из них.

Приведу несколько выводов Бурсова, звучащих как афоризмы. «Без Достоевского — нельзя, он часть нас самих, часть России и ее истории». Достоевский — врач, «в роли пациента — самосознание русской нации». В Достоевском «безусловно, больше Пушкина, чем в Толстом». Творчество Достоевского — «в поисках истины, добра и красоты». Есть вывод-призыв: «Пора освободить его от репутации художника, воспевающего зло»¹.

Я бы к этому прибавил еще один призыв: пора освободить Достоевского и от репутации великого грешника. Великий моралист и великий грешник — понятия несовместимые. Можно, конечно, грешить и каяться, но это не делает человека моралистом. Феномен Ивана Грозного — палача, которого мучила по временам просыпавшаяся совесть, — лежит за пределами истории этических учений.

Между тем в изображении некоторых авторов Достоевский предстает чем-то вроде психологического сколка грозного московского царя. Назову первоисточник — эссе З. Фрейда «Достоевский и отцеубийство». Личность писателя венский психиатр рассматривает в четырех аспектах — как художника, как невротика, как грешника, как моралиста. В отношении первых двух «фасадов» у Фрейда никаких сомнений не возникает. Достоевский — великий художник («стоит чуть позади Шекспира; «Братья Карамазовы — самый великолепный роман, когда-либо написанный»). Достоевский — безусловный невротик (не эпилептик в строгом смысле слова, ибо эпилепсия — психическое заболевание, разрушающее интеллект, гениальные эпилептики, согласно Фрейду, — люди, страдающие тяжелым неврозом, который сопровождается припадками «падучей»).

О Достоевском как о грешнике Фрейд судит осторожно. Преступника отличают две психологические черты — чудовищный эгоизм и ярко выраженное стремление разрушать. У Достоевского наоборот — сильная потребность в любви и безграничная способность любить. «Откуда, спрашивает Фрейд, — возникает искушение причислить Достоевского к преступникам? Ответ: все дело в выборе материала, предпочтении характеров преступных, эго-

истичных, склонных к убийству, что указывает на существование подобных склонностей в душе писателя»².

Больше всего, по мнению Фрейда, Достоевский уязвим как моралист. «Кто попеременно грешит, а потом в своем раскаянии выставляет высокие нравственные требования, того можно упрекнуть в том, что он удобно устроился... Он напоминает варваров эпохи переселения народов, которые убивают и каются, так что покаяние становится средством осуществления убийства. Иван Грозный ведет себя аналогичным образом, подобная сделка с совестью характерно русская черта. А итог нравственных борений Достоевского никак не назовешь похвальным. После ожесточенных схваток, имевших целью примирить инстинкты человека с требованиями человеческого общежития, он идет на попятную и приходит к подчинению как светскому, так и духовному авторитету, к благоговению перед царем и христианским богом, к узкосердечному русскому национализму... Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества, он стал одним из его тюремщиков»³.

Я привел эту длинную тираду, чтобы показать, к какому первоисточнику восходят многие хулы, расточаемые против Достоевского. Препарируя человеческую душу, Фрейд (и в этом его заслуга) добрался до некоторых неведомых ранее животных глубин. Но тьма подсознания, в которую он окунулся, затмила ему свет, исходящий высшими духовными потенциями человека. Сознание, для Фрейда, — в лучшем случае рассудочный регулятор человеческого поведения. Самодовлеющих духовных ценностей он не признает. Культура, по Фрейду, — *только* система запретов, и человеку «неуютно» в культуре, его как бы заперли в чужой квартире.

Человеку Достоевского радостно в культуре, здесь он у себя дома. Культура *только начинается* с запрета (наносить вред другому человеку), завершается она повелением *творить благо*, любить человека. Вторая часть этой формулы, столь близкая Достоевскому, была неведома Фрейду. Он увидел «тюремщика» там, где перед ним стоял освободитель.

Фрейд восторгается «Легендой о великом инквизиторе», много ли он усвоил из нее? В одной из поздних своих работ — «Неудобство в культуре» Фрейд говорит о том, что развитие культуры связано с подавлением животных инстинктов, которые, однако, все время дают о себе знать; у человека возникает чувство вины от того, что он не может до конца преодолеть в себе зверя, отсюда беспокойство, недовольство культурой и желание от нее избавиться. Фрейд говорит о «психологической нищете массы» как об опасности, «которая грозит там, где общественная связь устанавливается преимущественно путем идентификации людей друг с другом, а вожди не осознают своего назначения в деле воспитания массы»⁴.

Ход мысли, казалось бы, перекликается с «Легендой», где все это сказано раньше и ярче. В чем упрекает Великий инквизитор Христа? В том, что он не ответил на вековую тоску человечества по объекту общего поклонения. «Человек ищет преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в него и преклонились пред ним и чтобы непременно *всем вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков».

Нет у человека заботы мучительнее, повторяет Христу Инквизитор, чем найти того, кому бы поскорее передать свою свободу. «Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть... ..Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки и победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья,— эти три силы: чудо, тайна, авторитет». Христос отверг эти три искушения дьявола. Он отказался сотворить чудо — превратить в хлеб камни пустыни, овладеть тайной — броситься вниз с кровли храма, чтобы ангелы подхватили его и понесли, отказался от высшего авторитета — власти над царствами земными. Вера не нуждается в доказательствах, так толкует эту евангельскую

притчу Достоевский. «В вере никакие доказательства не помогают», — подсказывает Ивану Карамазову «черт», его больная совесть. «Доказать тут ничего нельзя, — настаивает старец Зосима, но добавляет, — а убедиться можно... Опытом деятельной любви».

Любовь в ее высшем проявлении, любовь как нравственно-формирующий фактор — сила, неведомая Великому инквизитору. Незнаком с ней и Фрейд (как психолог), именно поэтому он ограничивается лишь констатацией «бегства от свободы», ничего не противопоставляя этому феномену. Достоевский находит противоядие. Он встает выше сатанинской мифологии Великого инквизитора. Православие в его понимании — олицетворенное человеколюбие.

Творчество Достоевского — утверждение добра и любви к людям. При всей «полифоничности» его романов голос автора нельзя спутать с многоголосицей его оппонентов, хотя последним предоставлена возможность говорить громко и убедительно. Спор идет только на литературных страницах (в душе автора он решен изначально). И писатель добрыми глазами смотрит на мир, испытывая чувство жалости там, где, казалось, место остается одной ненависти.

В «Дневнике писателя», произведении весьма важном для понимания Достоевского, есть миниатюра «Мужик Марей», автобиографический рассказ о том, как девятилетнему мальчику почудился волк, как бросился он искать защиту у пашущего мужика, как тот успокоил его. «Конечно, всякий ободрил бы ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если бы я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлой любовью взглядом, а кто его заставлял?»

Важен контекст, в котором возникло у Достоевского это воспоминание детства. Праздник пасхи на каторге — отвратительные сцены пьяного разгула с картежной игрой, драками и поножовщиной, без омерзения на это смотреть нельзя. И вот детское воспоминание преобразует ситуацию. «Я почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг

каким-то чудом исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце».

И еще один контекст существен для понимания текста. Рассказ о мужике Марее появился в «Дневнике писателя» в феврале 1876 года сразу после статьи «О любви к народу», где Достоевский писал: «В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами почти всей русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ». Рассказ «Мужик Марей» как бы развивает эту мысль, облакает ее в художественную форму. Образ у Достоевского сильнее силлогизма. Ему мало найти идею, нужно, чтобы она дошла до читателя наилучшим образом, запала ему в душу.

И обратите внимание на концовку рассказа. Свидетелем отвратительного острожного разгула, кроме автора, становится поляк М-цкий. Рассчитывая найти сочувствие у русского интеллигента, он говорит по-французски: «Ненавижу этих бандитов!» Но в сердце Достоевского вместо ненависти — жалость. В том числе и к иноземцу, угодившему на русскую каторгу. «Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме: «*Le hais ces brigands!*» Нет, эти поляки вынесли тогда больше нашего!» Подобное «всепонимание», «всепонимание», способность встать на другую точку зрения и пережить чужую боль как свою Достоевский считал истинно русской чертой. Поэтому не прав и смешон Фрейд, говорящий об «узкосердечном русском национализме» Достоевского. Он опять-таки просто не в курсе дела.

«Русская идея» Достоевского — это воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности. Она лежит в основе его последних романов —

«Идиот», «Бесы», особенно «Подросток» и «Братья Карамазовы». Предельно четко писатель изложил ее в своей знаменитой речи о Пушкине, опубликованной в «Дневнике писателя».

В творчестве Пушкина Достоевский различает три периода, каждый из них отмечен созданием особого типа русской личности. Первоначально это бездомный «скиталец». Таков Алеко в «Цыганах», Онегин, Швабрин в «Капитанской дочке». Человек из образованного общества, лишенный корней, не связанный с жизнью народа. Его носит, «как былинку по воздуху», а он несет с собой беду, разрушение, смерть. Он может тосковать по душевной гармонии, совершенно не представляя, что это такое и как ее достичь. Спасенье он ждет «преимущественно от явлений внешних», внутреннего морального стержня в нем нет.

Достоевский хорошо знал подобный сорт людей, видел их вокруг себя и заглядывал им в душу до самых потаенных глубин. Почти в каждом его романе есть образ такого «скитальца». Из трех братьев Карамазовых к этому типу принадлежит Иван, образованный софист, он бродит во тьме умственных противоречий, запутывается в них и сходит с ума. Такие люди смотрят на свой народ только как на «материал». В результате они сами становятся «материалом» для сил зла.

В романе «Подросток» обрусевший немец Крафт «вычислил» математически, что «русский народ есть народ второстепенный, которому предназначено послужить материалом для более благородного племени, а не иметь самостоятельной роли в судьбах человечества». Крафт уверяет, что «скрепляющая идея пропала. Все точно на постоялом дворе и собираются вон из России». На самом деле потерял ориентиры сам Крафт, что и приводит его к самоубийству.

Пушкинский «скиталец» бродил по родной земле. У Достоевского возникает тема чужбины, «Америки», как земли обетованной для тех, кто оторван от родной почвы. Америка — олицетворение бездуховности, русскому там смерть. Крафт и Свидригайлов («Преступление и наказание») накануне самоубийства бредят об Аме-

рике, Кириллов («Бесы») вернулся оттуда готовым к самоубийству.

Если же «скиталец», оказавшийся на «чужбине» (для этого не обязательно покидать пределы родной страны, бывает и «внутренняя эмиграция»), не гибнет, он может легко превратиться в «беса». Это новый человеческий тип, неизвестный Пушкину. Его впервые вывел Достоевский, больше угадал, чем увидел, главное — почувствовал динамику характера.

В Петре Верховенском литературоведы усматривают памфлетно окарикатуренные черты Нечаева и даже Петрашевского. Но его подлинный прообраз — в будущем. Примечателен следующий диалог между Верховенским и Ставрогиным:

«— А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?»

— Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает.

— Понимаю, да ведь мы у себя.

— Нет, покамест не из высшей полиции».

Покамест! А что было дальше? Об этом разговор особый.

* * *

В 1926 году харьковское издательство «Пролетарий» выпустило в свет «Воспоминания террориста» ярого врага Советской власти, политического авантюриста Бориса Савинкова. Это не исповедь, многое автор не договаривает, многое пытается изобразить в выгодном для себя свете, тем не менее картина возникает разоблачительная. Своего рода иллюстрация к «Бесам» Достоевского. С той только разницей, что не жизнь давала прототипы для романа, а роман предвосхищал дальнейшее развитие характеров, которые, как накипь, возникали в кипящем котле революции.

Вот подлинный «бес» — Георгий Гапон. После расстрела демонстрации 9 января, когда он сам упал у Нарвских ворот на снег под пулями, ему удалось бежать за границу. Там он сблизился с эсерами. На Савинкова он произвел сильное впечатление.

О Гапоне давно ходили темные слухи, и поведение его не соответствовало представлению ни о революционере, ни о священнослужителе. Гапон любил жизнь в ее наиболее элементарных формах: он любил комфорт, любил женщин, любил роскошь и блеск, словом, то, что можно купить за деньги.

Наконец становится известным, что Гапон — агент полиции. Он предложил Петру Рутенбергу (который помог ему скрыться 9 января) поступить на службу в охранное отделение и выдать боевую организацию эсеров, за что правительство обещало сто тысяч рублей.

Рутенберг сообщил об этом партийному руководству. Было принято решение убить Гапона. Руководитель боевой организации Евно Азеф настоял на том, чтобы заодно был убит жандармский офицер Рачковский, державший в своих руках все нити политического розыска. Для этого Рутенберг должен был согласиться на предложение Гапона, добиться от Гапона совместной встречи с Рачковским и убить их обоих.

Рутенбергу удалось осуществить только часть этого замысла. Он заманил Гапона под предлогом переговоров на специально снятую дачу в Озерках. «В пустой комнате за прикрытой дверью несколько рабочих слышали разговор Рутенберга с Гапоном. Гапон никогда не говорил так цинично, как в этот раз. В конце разговора Рутенберг открыл внезапно дверь и впустил рабочих. Несмотря на мольбы Гапона, рабочие тут же повесили его на крючке от вешалки.

Тело Гапона было обнаружено полицией только через месяц после убийства. Центральный комитет, ссылаясь на свое постановление, отказался признать это дело партийным». Рутенбергу говорили: надо было вместе с Гапоном убить Рачковского. Он оправдывался тем, что Азеф в последний момент разрешил ему убить одного Гапона, более того — Азеф помогал ему советами и указал на людей, которые стали его сообщниками. Азеф отрицал это. Поползли слухи, что Рутенберг убил Гапона на почве полицейской конкуренции. Только тогда в эсеровской газете «Знамя труда» появилось сообщение руководства эсеровской партии, реабилитирующее Рутенберга.

Во главе боевой организации эсеров, осуществляющей террористические акты, стоял один из создателей партии Евно Азеф, давний агент охранки (с 1892 г., а партия возникла в 1901 г.). Он начинал как мелкий филер, а под конец его ежегодный оклад в полиции составлял 14 000 рублей. Он отправляет на виселицу и каторгу своих товарищей по партии, но одновременно именно он организует убийства министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича и ряд других крупных покушений. Он готовит убийство царя и своего непосредственного начальника по охранному отделению Рачковского и другого начальника — Лопухина. (Потом Лопухин уйдет из полиции, и его показания сыграют главную роль в разоблачении Азефа, а тот будет умолять Лопухина не выдавать его эсерам.) Это «бес»-оборотень, который и на партию эсеров, и на полицию смотрел как на средство осуществления своих целей. Каких именно? В деле Азефа много темного и непонятого. Сведения о его предательстве поступали давно, но разбирательству не давали хода. Пока наконец к суду чести не привлекли журналиста В. Бурцева, решительно обвинившего Азефа. И только в процессе суда над Бурцевым окончательно выяснилось, что Азеф — предатель. Последнему, однако, дали возможность скрыться.

А вот рядовые террористы, метальщики. Это люди, распрощавшиеся с жизнью. Люди типа Кириллова из «Бесов» Достоевского. Дора Бриллиант — «вопросы программы ее не интересовали». У нее одно желание: «чтоб дали бомбу... я хочу умереть». Василий Сулятицкий: «он не представлял себе участия в терроре иначе, как со смертным концом, болсе того, он хотел такого конца». И т. д. и т. п.

И еще одна важная деталь бесовской деятельности эсеров. На какие деньги живут эти люди, готовят динамит, снимают дорогостоящие квартиры и дачи, приобретают рысаков, совершают бесконечные заграничные поездки? Савинков глухо говорит о грабежах, а затем делает важное признание: в 1905 году «поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров в размере миллиона франков». Эсеры приняли

деньги, причем 100 000 франков «поступили в боевую организацию».

Америка — «страна Желтого дьявола». Этот горьковский образ восходит к «Бесам» Достоевского, к решительному неприятию им американского образа жизни и поведения. Митя Карамазов понимает, что бежать с каторги можно только в Америку, но как ему противно думать об этом: «Вот что я выдумал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой!.. Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу... Да я там издохну». И даже несмышлениш Коля Красоткин убежден, что «бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость».

Врач обязан не только поставить диагноз, но и вылечить больного. Так и писатель не должен ограничиваться изображением социальной болезни, велик тот, кто обретает нравственный идеал и делает его всеобщим достоянием.

Русская классическая литература в этом отношении уникальна. (Как уникальна немецкая классическая философия, между двумя величайшими феноменами мировой культуры есть разительная близость — проникновение в глубины человеческого духа.) Уникальность русской классики состоит в непосредственном утверждении положительного нравственного идеала. Любое подлинное художественное произведение так или иначе способствует выявлению добра в человеке. Русские писатели XIX века умели делать это без обиняков, «в лоб», не впадая при этом в дидактику, оставаясь при этом (а может быть, благодаря этому) великими реалистами.

Заглядывая в будущее русского народа, Достоевский предрекал ему нравственное совершенство. К русскому «скитальцу» обращен в речи о Пушкине призыв Достоевского «смириться», то есть образумиться. «Смирись, гордый человек» означает «образумься, праздный бездельник», потрудись на родной ниве. «В труде добудьте бога», — поучает Шатов Ставрогина.

Зрелый Пушкин, по словам Достоевского, «нашел свои идеалы в родной земле». Он создал литературный тип, «твердо стоящий» на своей почве», — Татьяну Ларинову. «Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать, что это выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта... Повсюду у Пушкина слышится вера в русский народ, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть и надежда, великая надежда на русского человека».

Но подлинный «подвиг Пушкина» Достоевский видит в том, что в его поэзии засияли идеи всемирные. Ибо «что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности... О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие, грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия».

Достоевский говорил о будущем. Устами своего героя Версилова он обращал внимание на то, что в России «возникает высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех». Этот «всемирный болельщик» вырастает из «почвенника»: чем сильнее привязанность к родной земле, тем скорее она перерастает в понимание того, что ее судьба неотделима от судеб всего мира, забота о собственном доме заставляет думать о том, как живет твой сосед. Отсюда стремление устроить дела всеевропейские и всемирные как характерно русская черта.

«Француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех... Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы». Вот так выглядит «узкосердечный русский национализм» Достоевского.

В черновиках к роману «Подросток» есть такая запись: «Русский дворянин — как провозвестник всемирного гражданства и общечеловеческой любви. Это завещано ему ходом истории. Горизонт перед ним отверзт Петром». Достоевский говорит о дворянстве, имея в виду не сословную принадлежность, а состояние духа, уровень культуры. В отношении сословия у Достоевского не было ни предрассудков, ни иллюзий. Писатель показывает распад и вырождение родового дворянства. Об этом собственно и идет речь в «Подростке». Князь Сокольский — уголовник, а истинный дворянин духа — бывший крепостной Макар Иванович Долгорукий: и фамилия у него княжеская, и мысли, и поступки. Достоевский мечтает о том времени, когда «дворянином... станет весь народ русский».

Здесь коренное отличие Достоевского от Толстого. Последний призывал высшие слои общества опуститься до низших, «опроститься». Достоевский в «опрощении» видел упрощение, примитивизацию проблемы. Обращаясь не к Толстому, но рассуждая по поводу его идеалов, он писал: «Старания «опроститься» — лишь одно переряживание, невежливое даже к народу и нас унижающее. Вы слишком «сложны», чтобы опроститься, да и образование ваше не позволяет вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности».

«Одворянивание» мужика — такая же утопия, как и «омужичивание» помещика. Но в утопии Достоевского есть доля здравого смысла, которая состоит в идее народного образования и воспитания. У Достоевского нет ненависти и недоверия к науке, чем отличался поздний Толстой. Знание — сила и свет, знание должно стать достоянием народа.

«Грамотность, прежде всего грамотность и образование усиленные — вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать... В распространении ее заключается единственное возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом». Достоевский мечтает о подлинной культуре для народа.

Для Достоевского этот вопрос имеет принципиальное

значение. Подлинное образование — это нравственное воспитание, приобретение знаний для моральных целей. В этом плане особенно интересен образ главного героя «Братьев Карамазовых» — Алеши. В начале романа он еще не созрел как «всемирный болельщик», он одержим «жаждой скорого подвига». Между тем, замечает Достоевский, «скорый подвиг», даже «жертва жизнью» может быть «самая легчайшая из всех жертв», гораздо труднее «пожертвовать... пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу». Это понимает наставник Алеши старец Зосима, и он буквально гонит его из монастыря в жизнь, в активную деятельность. Главное действие романа — не убийство Карамазова-отца, не умственная казуистика Ивана, не пьяный разгул Мити, это все лишь фон, на котором разворачивается история возмужания Алеши, превращения его инфантильной, «мечтательной» любви к Зосиме в любовь «дейтельную», ко всем. В конце романа он говорит, что покинет родной город «очень надолго», видимо, пойдет учиться.

Алеша Карамазов — не Алеша Горшок (персонаж Толстого, тихий, темный деревенский парень). Можно сопоставить «жизнеописание Алексея Федоровича Карамазова», как называет свой роман Достоевский, с древнейшим памятником отечественной словесности «Житием святого человека божия Алексея». В древнем сказании герой — юноша из богатой семьи покидает отчий дом и становится нищим праведником; после семнадцати лет отсутствия он возвращается воссояси, живет еще семнадцать лет вплоть до кончины среди челяди неузнанный в родном доме: любви избирательной, родительской и супружеской, он предпочел всеобщую любовь к людям, добро как таковое.

Но плодотворнее другая аналогия. Она ничего не дает для выяснения генезиса образа Алеши, свидетельствуя лишь о том, что образ не выдуман, а взят из русской действительности. Я имею в виду судьбу Павла Флоренского (1882—1943), молодого профессора Московской духовной академии, пошедшего вместе с народом в прак-

тическую жизнь, в науку и технику. Он стал ученым-естествоиспытателем и инженером, заведовал лабораторией в исследовательском институте, сделал ряд открытий и изобретений, нашедших применение в народном хозяйстве. Был крупным искусствоведом. И замечательным прозаиком. Прочтите его воспоминания о детстве (альманах «Прометей», № 8), и вас поразит переключка с Достоевским, вы увидите, как мироощущение ребенка входит в сознание взрослого и остается там навсегда.

Не об этом ли говорит Алеша Карамазов в речи на похоронах, обращаясь к мальчикам. В речи Алеши, по словам Достоевского, заключается «отчасти смысл всего романа». Алеша призывает помнить о родительском доме и детстве. «Нет ничего выше и сильнее и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное из детства... Если много набрать таких воспоминаний в жизнь, то спасен будет человек на всю жизнь... Может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит».

У Достоевского было такое воспоминание, мы знаем: «Мужик Марей». Финал «Братьев Карамазовых» — еще один контекст, в котором миниатюра из «Дневника писателя» обретает новый, широкий мировоззренческий смысл и придает особое звучание концу романа. Моральный облик человека формируется в детстве, поэтому думайте о детях: они — наше будущее.

Какой набор тривиальных слов, может подумать читатель. Пусть: они в духе Достоевского. Автор «Братьев Карамазовых» берет прописные истины, но подает их с такой убежденностью, что они звучат как первооткровения. «Не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег... А главное, самое главное — не лгите», — учит старец Зосима Федора Карамазова. Тоже, казалось бы, набор тривиальностей, но Достоевский не боится их произнести, и мы верим ему, что именно так надо начинать самоперевоспитание и что это никогда не поздно.

Призыв Достоевского обращен не только к индивиду, но и к виду, к народам, ко всему человечеству. Кто установил, спрашивает он, что нравственность касается частных лиц, а не государств? Достоевский иронизирует:

«То, что считается для одной единицы, для одного лица — подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости». Это сказано в «Дневнике писателя». Сопоставьте слова Достоевского с программным требованием К. Маркса из Учредительного манифеста I Интернационала: «...Добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами в отношениях между народами»⁵.

Что такое «простые законы нравственности»? Это элементарные нормы общежития — запрет обмана, насилия, готовность прийти на помощь терпящему бедствие. Без этих этических азов не может существовать общество. Достоевский был к ним особенно чуток, их безоговорочное утверждение — пафос его творчества. Он развернул перед нами широкую панораму морального сознания. От простейших его форм в виде немудреных запретов до самой сложной — императива деятельной любви, проявляющейся в поступках, честном труде и достойном поведении. Любовь к родине — апофеоз этой любви, в ней смысл жизни. И этим великий моралист Достоевский нам особенно близок сегодня.

* * *

Прощаясь с читателем, считаю необходимым напомнить ему ленинские слова: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину... Мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои взаимоотношения к соседям на человеческом принципе равенства»⁶. Ленин смотрел на великорусский пролетариат как на главный двигатель коммунистической революции. В Великую Отечественную войну русский народ вынес на своих плечах главную тяжесть победы.

XX век в национальных отношениях обнаружил две противоположные тенденции — интернационализацию хозяйственной и культурной жизни и, одновременно, пробуждение национального сознания. Одно не мешает другому, может быть, даже способствует: взаимодействие элементов возможно тогда, когда каждый из них определился как самостоятельное целое.

Капиталист, принуждающий рабочего к труду, заинтересован в том, чтобы лишить его национального чувства. Эксплуатировать проще всего иностранных рабочих, оторванных от родной среды, или соотечественников, потерявших классовую и национальную солидарность. В западной литературе ныне говорят о феномене этнического «евнуха» — человека, утратившего корни, не обремененного традицией. Служитель восточного гарема, купленный, как правило, на невольничьем рынке, лишенный родного языка, родной веры, даже половой принадлежности, свободный от всех обязательств, кроме службы хозяину, — типическое выражение национальной обезличенности.

Историческое сознание — прививка против национальной кастрации. Первоначальной скрепой нации были язык и религия. Родная речь и родная вера, подкрепленные привязанностью к родной земле, обычаями, привычками и типом поведения, создавали национальную культуру. Теперь все больше на первый план выходит общность «судьбы» — единое прошлое и единство надежды.

Устная традиция формирует только основы исторического сознания. Для того чтобы охватить прошлое в его даже приблизительной полноте, сделать его мало-мальски общим достоянием, нужны иные формы социальной памяти — наука и особенно искусство, опирающиеся на средства массовой коммуникации. Первым из этих средств была печатная книга. Ныне к ней добавились и превзошли ее по силе воздействия периодическая печать, радио, телевидение, кино.

Русское национальное самосознание родилось на Куликовом поле, историческое сознание — много позже: одновременно с современной формой словесности. Пер-

вым русским историком, обратившимся к массовой аудитории, был создатель русского литературного языка Карамзин. Русская литературная классика и классики русской истории закрепили «связь времен», создали образцы благоговейного отношения к былому. Но в толщу народа это не могло войти по той простой причине, что подавляющее большинство населения царской России было неграмотным.

Октябрь принес с собой культурную революцию. Открылась небывалая дотоле возможность приобщить народ к его истории. Исповедуя интернационализм, мы остаемся патриотами. Устремляясь в будущее, мы внимательно вглядываемся в прошлое. Опыт истории дает нам уверенность в завтрашнем дне.